

М. Зейдман

ВОСПОМИНАНИЯ
НЕЗНАМЕНИТОГО

Живу, как хочется

Шимон Гойзман

**Воспоминания незнаменитого.
Живу, как хочется**

«Издательские решения»

Гойзман Ш.

Воспоминания незнаменитого. Живу, как хочется / Ш. Гойзман —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-931211-2

«Жизненный пример Ш. Р. Гойзмана — один из немногих, к сожалению, образцов творческого почина, столь характерного для русской интеллигенции классического периода, когда достижения в определенной специальности перерастают в проекты, служащие благу всего общества». Сергей Павлович Щавелёв

ISBN 978-5-44-931211-2

© Гойзман Ш.
© Издательские решения

Содержание

ПОСВЯЩЕНИЯ И ИЗВИНЕНИЯ	6
1. Память	7
2. Фамилия	9
3. И все-таки о себе	17
4. Ура! Мы едем в эвакуацию!	19
5. Мы уже на месте	22
6. Как твоя фамилия?	25
7. Лето 42-го	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Воспоминания незнаменитого Живу, как хочется

Шимон Гойзман

© Шимон Гойзман, 2018

ISBN 978-5-4493-1211-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПОСВЯЩЕНИЯ И ИЗВИНЕНИЯ

Эту книгу я посвящаю моим дорогим потомкам. Читайте её и, я надеюсь, вы поймёте, что замыслил я эту книгу не только как историю своей жизни, но и как повесть о стране, которой уже нет, о своих любимых родителях и о людях, среди которых я жил.

Дорогие мои ближние и дальние родственники! Если вы в этой книге найдёте строки о себе, и вам сразу захочется сказать: «Нет! Всё было не так!», не спешите! Всё было именно так! Так запомнила описываемые мной события моя память. И если всё, что вызвало ваш протест, произошло не с вами, то оно произошло наверняка с рядом живущими людьми. Перенесение же этих событий на ваши имена – чисто литературный приём для более достоверного вхождения читателя в обстановку тех лет.

Дорогие мои ближние и дальние родственники, дорогие соседи по киевскому дому моего детства, в каждой из сорока четырёх квартир которого жило от пяти до семи семей, дорогие мои школьные товарищи! Если вы в этой книге не найдёте строк о себе, не обижайтесь! Круг персонажей этой книги ограничен только теми людьми и событиями, которые оказали существенное влияние на мой характер и на совершённые мною поступки. Извините меня!

Шимон Гойзман

© 2005. Ш. Р. Гойзман. Курск

1. Память

Сегодня, 19 октября 1997 года, находясь в дурном состоянии духа, решил начать писать. Я не очень владею искусством устной речи. По крайней мере, не настолько хорошо, чтоб выражать точно и правильно свои мысли, не залезая в «Кишинев» за словом, как говорят евреи. Другое дело – речь письменная! В этом случае слово – не воробей: вылетит – поймаешь, отредактируешь.

Давным-давно, ещё будучи учеником 6-го или 7-го класса, я пристрастился к чтению книг. В этом повинна была, очевидно, Людмила Густавовна Снитковская – наша учительница русского языка и литературы, хорошо знавшая и страстно любившая свой предмет. А еще в этом были повинны пятеро моих талантливых соучеников – эрудированных, много читавших, легко и быстро писавших стихи, пьесы и фельетоны. Я по-хорошему завидовал их таланту, изо всех сил тянулся к ним и тайно надеялся войти в их круг. Но для этого у меня не хватало общительности и мешала вечная неуверенность в себе, сомнение в своих возможностях, которые являются, очевидно, еще с детства основной чертой моего характера. Говорят, в детстве каждый пытается писать стихи. Но я в школе никогда даже не пробовал писать стихи. *Кто-то из сторонников теории Дарвина в ответ на ее критику сказал, что современные обезьяны смогут стать людьми только тогда, когда все люди покинут планету Земля. Так и я: стал пописывать что-то вроде стихов, только лишившись общества своих даровитых друзей, т. е. после окончания школы.*

Другое дело – проза. Чем больше я читал разных прозаиков, тем больше казалось, что писать прозу легко, что и я смогу так же, только вот все недосуг заняться. Гораздо позже встретилось мне чье-то высказывание, которое я твердо запомнил и принял для себя в качестве жизненного правила: «писатель – тот, кто не может не писать». А я? Я мог и не писать.

И вдруг почему-то захотелось. Захотелось выговориться. Может быть, это всего лишь признак приближающейся старости, когда поговорить хочется, а тем для разговоров с окружающими уже нет? И ты давно уж надоел всем своими воспоминаниями, вновь и вновь пересказывая много раз слышанное ими? А может быть, наконец, появилось время проверить: действительно ли писать – это просто? Короче, думаю, просто надо один раз всё записать, чтоб больше к воспоминаниям не возвращаться. Даже если вся моя писанина окажется простой болтовней, то почему бы и не поболтать с теми, с кем мне побеседовать по душам никогда не удастся?

Писание мемуаров принято считать уделом знаменитых людей или людей, встречавшихся со знаменитостями. А я? Мне уже 62, а знаменитым я до сих пор так и не стал, и со знаменитостями встречаться мне тоже не доводилось.

Впрочем, о встречах со знаменитыми.

Примерно в 1946 году на одной из киевских улиц нас с папой встретил какой-то грузный старик. Как он искренне обрадовался, что папа остался жив после этой страшной войны! Затем он настойчиво стал приглашать папу к себе на работу. Папа отказался, и мы распрощались. А потом, когда отошли подальше, папа сказал, что мы встретили знаменитого астронома академика Всехсвятского, которому он еще до войны сделал прибор для суточного наблюдения за звездами, и академик говорил тогда ему, что такого прибора ни у одного из астрономов во всем мире нет.

Да, вот еще... В подвале дома, стоявшего напротив нашего, жил дальний папин родственник Абрам Вайс, к которому из Нежина приехала племянница Элла Быстрицкая, поступившая в Киевский театральный институт. Будучи студенткой, она всегда прибегала к нам с пригласительными билетами на отчетные студенческие спектакли. Запомнился спектакль «Дядя Ваня», где Элла играла одну из главных ролей. Спектакль был дан в рамках предвыборной

кампании (в помещении театрального института был избирательный участок) и запомнился он не игрой моей дальней сестры, а курьезом: дядя Ваня стреляет в профессора, а выстрела за сценой почему-то не последовало. Тогда дядя Ваня хватается за стул, кричит отсебятину: «Ах, осечка. Но я все равно тебя убью!», размахивается стулом и тут за сценой раздаётся выстрел. Но Быстрицкая – не в счет: в те годы она еще не была знаменитой, а когда стала таковой, то я с ней больше никогда не встречался.

В феврале 1953 года я впервые приехал в Москву погостить у московских родственников отца. Мой родной дядя Иегуда, которого на русский манер все звали дядей Юрой, жил в большом доме с гастрономом, в начале Тверской (тогда – улица Горького). Во дворе этого дома сестра Софа украдкой показала мне на худого сутулого старика в поношенном пальтишке в крупную клетку, бредущего шаркающей походкой по двору: «Вон пошел с большой авоськой. Видишь? Это – поэт Михаил Светлов, сосед дяди Юры по квартире».

Много позже, в 1970-е годы на встрече филателистов в московском «Доме Работников Искусств» у меня покупал какие-то почтовые марки знаменитый киноартист Михаил Жаров. Торговался он со мной, как последний скряга, придирался к целостности каждого зубчика на марке, а после совершения сделки безапелляционно пригласил меня к буфетной стойке, чтобы «спрыснуть» покупку коньячком. Оплатил коньяк, разумеется, Жаров сам, и обошлось это ему гораздо дороже, чем стоили те жалкие марки.

А еще в те же годы, будучи в командировке на «Мосфильме» и идя вместе с главным энергетиком киностудии, мы встретили тучного старика, который шел, тяжело опираясь на палку и часто останавливаясь из-за одышки. Меня представили: «Вот наш товарищ из Курска». После обмена общими фразами разошлись, а главный энергетик мне торжественно объяснил: «Это был знаменитый кинорежиссер-сказочник Птушко!» Я удивился: «И зачем это нужно было меня с ним знакомить?». «Как же, как же! Он же вот-вот умрет, а ты будешь всем рассказывать, что тебе лично Птушко руку пожимал!..» Вот я и рассказываю.

2. Фамилия

Многие начинают свои мемуары со слов: «Я родился...» или: «Первое, что я помню...». Но я хотел бы «копнуть глубже».

Мои предки, как и все евреи Российской империи, проживавшие в пресловутой «черте оседлости» на Украине и в Белоруссии, появились в восточных воеводствах Польши примерно в 15 веке, эмигрировав из немецких княжеств. В конце 18 в., а точнее – после 1793 года, когда произошёл так называемый «второй раздел» Польши между Россией, Австро-Венгрией и Пруссией, все польские евреи невольно оказались подданными Российской империи. Долгие годы евреи Польши, а затем и России вместо фамилий довольствовались только кличками. Фамилии в России начали присваивать после 1804 года. Для основной массы бесфамильных евреев, дабы не утруждать себя, российские паспортисты придумывали фамилии по названиям маленьких городков (по-белорусски «местечек»), в которых эти евреи проживали. Так все евреи из местечка Броды стали Бродскими, из Чуднова – Чудновскими, из Слуцка – Слуцкими. Вдовьи дети часто получали фамилии по именам своих матерей (отсюда многочисленные Златкины, Фрумкины, Миркины), а религиозные служители и их потомки – по наименованиям древних верховных каст (от Левитов произошли Левины, Левитаны, Левитины; от Кохенов – Коганы, Когановичи; от раввинов – Рабиновичи). Для евреев, имевших постоянную, передававшуюся по наследству «цеховую» специальность, фамилии образовывались по их специальности с русским или древнееврейским корнем (Резники – Шойхеты, Портные – Шнайдеры, Столярские – Тышлеры, Сапожники – Сандлеры).

Не пришлось придумывать фамилии только древним еврейским родам, сохранившим свои фамилии со времён проживания в немецких княжествах. Это были фамилии, образованные по цеховым специальностям или по кличкам: Бирман (пивовар), Шистерман (сапожник), Ройтман (рыжий), Кримерман (кривой)...

Грамматический корень фамилии ГОЙЗМАН (Гойз) в русском переводе может означать либо сено (Heu), либо дом (Haus – в звучании на верхнебаварском диалекте). Оба слова имеют характерное немецкое происхождение и, очевидно, фамилия ГОЙЗМАН является фамилией-кличкой (дразнилкой), которая, к сожалению, ничего не говорит о цеховой принадлежности моих предков.

Однако, по семейным рассказам мой прапрадед, Лейб Гойзман из местечка Чуднова Волынской губернии (ныне – районный центр Житомирской области на Украине), был известным скрипачом-клезмером и стоял во главе оркестра. А, основываясь на семейных преданиях, на старинных документах и фотографиях, можно утверждать, что, по крайней мере, уже к середине 19 века Гойзманы считались семьёй потомственных музыкантов-оркестрантов.

Прадед Иехиль-Алтер Лейбович Гойзман (1849 – 27.III.1913) был известным музыкантом-скрипачом и педагогом, дирижером оркестра и композитором, в том числе и автором многих танцевальных мелодий, считающихся теперь народными. Об исполнительском мастерстве «Алтера из Чуднова», как его часто называли, в народе ходили легенды. Коронным номером каждого его концерта была виртуозная пьеса «Железная дорога», иллюстрировавшая поезд в пути. Эту пьесу Иехиль Гойзман по настойчивым требованиям слушателей исполнял на каждом концерте, приводя их в неимоверный восторг. Надо сказать, что Иехиль Гойзман резко выделялся на фоне других музыкантов того времени тем, что хорошо знал нотную грамоту (учился в Варшаве). Чердак его большого дома, выходявшего окнами на базарную площадь местечка Чуднов, был до отказа забит нотными рукописями, которые пролежали невостребованными со дня его смерти до самой Великой Отечественной войны 1941 года. А во время войны все его творческое наследие бесследно исчезло. Очевидно, ноты пошли в печи оставшихся в оккупации жителей. Тогда же был разобран и распилен на дрова и деревянный дом

прадеда. Мой дядя Исаак Лейбович Гойзман бережно хранил чудом сохранившийся у него листок с факсимильной нотописью рапсодии прадеда. Как-то он сыграл для меня эту пьесу, и я был поражен причудливым сплавом украинских и еврейских мелодий.



Tales *AB* *NEW YORK*

Прадед Иехиль Гойзман.

Нью-Йорк, 1902 г.

Хотя постоянно семья Гойзманов проживала в Чуднове, Иехиль Гойзман со своим оркестром часто «гастролировал» по свадебным приглашениям, приглашениям русских и польских помещиков и по всему западу Российской империи, а также выступал с концертами в Румынии, Австро-Венгрии и даже выезжал (в 1902 году) в США. Прадеду неоднократно предлагали бросить кочевую жизнь и вступить в оркестр Киевского Оперного театра, но он отвергал все подобные предложения из-за необходимости играть там по субботам. По степени известности в еврейском музыкальном мире у прадеда в те годы был только один конкурент – Авраам-Мойше Холоденко по кличке «Педоцер», живший в соседнем Бердичеве. Оркестры Гойзмана и Педоцера не были оркестрами в современном понимании этого слова. В этих оркестрах зрелые музыканты совмещали выступления на публике с обучением музыке детей, которые, как правило, жили в одной из комнат в доме музыканта-учителя.

Кстати, еще о фамилиях: в еврейских оркестрах все музыканты, как правило, имели кроме официальных фамилий и фамилии-клички по названиям инструментов, на которых они играли. Так, мой прадед Иехиль Гойзман отзывался и на фамилию Фидельман (т. е. скрипач), его зять – на фамилию Флейтман (т. е. флейтист) и т. д.



Оркестр И. Гойзмана из Чуднова-Волынского на гастролях в Польше. 1905 г. Фото из книги Г. Сапожника «The compleat Klezmer», N. Y 1988

В оркестре Иехиля Гойзмана обучались и его дети, и дети родственников, и дети из семей иногородних музыкантов. На полном пансионе в доме прадеда под присмотром его жены – моей доброй прабабушки Добии или, как ее ласкательно называли, бабы Добци, жили многие юные скрипачи. В частности, Иехиль Гойзман был первым учителем знаменитого скрипача XX века «вундеркинда» Миши Эльмана. Именно прадед снабдил юного Эльмана деньгами на дорогу и рекомендательными письмами к своим петербургским друзьям-музыкантам с просьбой помочь молодому дарованию поступить в Петербургскую консерваторию.



Прабабка Добия Гойзман

Иехиль Гойзман умер от склероза сердца, как записано в «метрических книгах об умерших евреях по местечку Чуднову», оставив четверых сыновей и двух дочерей. Дочери Эсфирь (в замужестве Радихова) и Хава (в замужестве Флейтман) хорошо играли на фортепиано. Старший сын Исаак – скрипач. Во время гастролей в США он женился и навсегда остался в Аме-

рике. Второй сын, Лейб, играл на многих инструментах, но его истинным призванием, ставшим позднее и основным занятием, было изготовление и ремонт скрипок и деревянных духовых инструментов (флейт, кларнетов и т. п.). Третий сын, Лазарь, также был скрипачом, а четвертый – Иосиф-Вольф (мой дед) – играл на корнете, трубе и других «медных» духовых инструментах.

В те давние годы каждый еврейский кагал (община) был строго разделен на «цехи» по потомственным специальностям. При таком укладе жизни в течение столетий дети обучались специальностям у своих родителей, и браки заключались между молодыми людьми из семей, принадлежавших к одному и тому же кругу, т. е. владевших одной и той же специальностью. Наличие у каждой семьи своей наследственной специальности, с одной стороны, предотвращало конкуренцию в пределах одного местечка, а, с другой стороны, в детях генетически «по наследству» отшлифовывался все более и более высокий профессионализм. В семьях музыкантов – это природные музыкальные задатки, музыкальный слух. «Цехи» имели свою «табель о рангах», по которой специальность «музыкант» ценилась довольно низко.



*Иосиф-Вольф Гойзман в
форме пожарного. 1926 (?)*

Но вечно так продолжаться не могло, и к началу 20 века, естественно, цеховой уклад еврейского кагала начал быстро разрушаться. Не прошла эта «революция» и мимо нашей семьи: мой дед Иосиф-Вольф влюбился в девушку не своего круга. Шейна (так звали мою будущую бабушку) была дочерью весьма уважаемого винокура Иона Васермана, известного на всей Украине специалиста по строительству спиртовых и сахарных заводов. Богач Васерман с трудом дал согласие на свадьбу дочери с каким-то «музыкантишкой». Согласие было обставлено требованием к жениху, чтобы он навсегда отказался от своей профессии. И дед отказался. В качестве приданого невесте дали большой одноэтажный дом и предложили молодым самим зарабатывать себе на жизнь, открыв в этом доме ресторан, благо место выгодное: в самом начале центральной улицы, на въезде в местечко, если ехать от железнодорожного

вокзала. Говорят, этот дом в Чуднове цел до сих пор и в нем все также находится то ли ресторан, то ли столовая.



*Юрий (Иегуда) Гойзман со
своей женой
Марией Андреевной*

Итак, самая большая комната дома была переоборудована под так называемый ресторанный зал, молодые наняли повара и официантов, бабушка торжественно заняла место за кассой, а дедушка... А дедушка «внезапно» был избран начальником городской пожарной команды! И выбор местечковой общины был не случайным! В те времена традиционно первой обязанностью всех пожарных были бесплатные концерты танцевальной музыки для всех желающих в городском саду! Так кому же еще, как не Иосифу Гойзмону, быть главным пожарным и капельмейстером духового оркестра? Так дед перешел из музыкантов-профессионалов в музыканты-любители.

Вскоре пошли у них дети. Но за отход от традиций общины почти всех его детей природа наказала отсутствием музыкального слуха. Исключением был только старший сын Иегуда. Рано научившись играть на скрипке в домашнем оркестре своего деда, он еще ребенком играл в ресторане отца, затем кончил консерваторию по классу фортепиано. Позднее играл на аккордеоне в джазовых оркестрах крупных московских ресторанов, во время войны 1941 – 1945 гг. играл во фронтовой концертной бригаде Леонида Утесова, а после войны – в эстрадном оркестре Всесоюзного Радио.

Мой отец, Рувим, в семье деда был четвертым. Он родился в 1909 году. Но из-за тяжелых родов моя бабушка умерла, и дед Иосиф-Вольф вскоре женился вторично. По старинному обычаю и по предсмертному пожеланию Шейны его женой стала незамужняя младшая родная сестра покойной. Звали ее Витой, и был ей в ту пору всего 21 год. Конечно, это был брак без любви, брак, навязанный традициями и приказом отца, который нарушить она не посмела. И свалились на молоденькую Виту нежданно-негаданно четверо детей старшей сестры. Но стать им второй матерью она так и не сумела. Иегуда, старший сын Шейны, из-за небольшой разницы в годах с мачехой до конца жизни звал ее по имени. Впоследствии родила Вита деду Иосифу еще одного сына и дочь – Мейера и Гиту.



*Вита Гойзман с дочерью Гитой. 1916 г.
Справа Иегуда Гойзман*

Новорожденного Рувима отдали в деревню какой-то мамке-кормилице. В родную семью он, чужой для беременной мачехи и никому не нужный, был возвращен только в трехлетнем

возрасте. Благодаря революции 1917 года отец получил уже чисто светское образование, окончив еврейскую семилетнюю школу, был членом детской еврейской политической организации «Спартакровский союз». О своей причастности к этой организации отец сказал мне как-то под большим секретом лишь в начале 1950-х. Под секретом, ибо после создания в СССР пионерской организации, «Спартакровский союз», как и другие детские организации, был закрыт, как контрреволюционный, враждебный советской власти.

В четырнадцатилетнем возрасте, после окончания школы, папу отдали в ученье некоему Левину, владельцу кустарной ремонтной мастерской. Хозяин был мастером на все руки. Он сам и двое его учеников (собственных детей владельца мастерской) успешно чинили все, чем были богаты обитатели местечка и голытьба всех окрестных деревень – и седла, и велосипеды, и припусы, и кастрюли. Для папы и для детей самого Левина это была настоящая школа мастерства!



*Чуднов. 1926 г. Стоят (слева направо): Рувим, Гита и Меир;
сидят: Фаина (дочь Лазаря Гойзмана), Евсей и Мариам
Гойзмань, дядя Меир Васерман*

Но вскоре началось всеобщее насаждение социалистических программ, исчезли кустари-одиночки, закрылись мелкие артельные мастерские, а многочисленные местечковые мастерские, оставшись без работы, потянулись в поисках счастья в крупные города. Папа поехал в Киев, где в это время уже жила его старшая замужняя сестра – Мариам, моя тетька Маша. Комната, которую получил ее муж, занимавший тогда какой-то видный партийный пост, была на Подоле – в самом старинном районе Киева, густо заселенном евреями. Ушер Анбиндер, так звали мужа тети Маши, прописал отца в своей комнате, устроил его слесарем на завод, а сам с женой вскоре уехал в Москву, получив новое назначение. Квартира была на третьем этаже углового трехэтажного дома и состояла из одной громадной комнаты площадью в 51 квадратный метр, доставшейся отцу, еще одной маленькой комнаты, где жил сосед Гриша Мичник, и общей кухни. Окна комнаты отца выходили с одной стороны на набережную Днепра, а с другой стороны – на тенистую Борисоглебскую улицу. А еще в этой комнате был угловой балкончик.

17 сентября 1933 года в эту комнату отец привел жену, Малку (Машу) Портную из Бердичева, мою маму. Я же родился 31 июля 1935 года, и в честь своей матери папа назвал меня Шимоном.



*Рувим и Малка Гойзман. 1933 г.
Свадебная фотография*

В этом же году в Киев в поисках счастья приехал из Чуднова и старший брат отца Евсей (дядя Сея). Когда он вскоре решил жениться, папа перегородил нашу комнату фанерной стенкой, выгородив «переднюю» – комнатку, из которой можно было попасть в обе комнаты. Мы остались в большей комнате с видом на набережную, а дядя Сея с молодой женой – за перегородкой в меньшей и без балкончика с видом на Борисоглебскую улицу. Затем в Киеве объявилась младшая сестра папы – Гита, которая с мужем и дочкой Майей стала жить в передней; позже из Чуднова приехала двоюродная сестра мамы, Рая Пастернак, для которой мама поставила кровать рядом со своей. В 1937 году появилась на свет моя двоюродная сестричка Софья (дочь дяди Сеи), а у соседа Гриши – дочь Рита. Жили все вместе, тесно, общими радостями и, как водится, не без мелких обид.

3. И все-таки о себе

Удивительная штука память! Невероятно, но я почему-то помню большое весеннее наводнение в Киеве, когда мы на лодках из окон второго этажа выплывали на первомайскую демонстрацию! Но все почему-то уверяют меня, что это было до моего рождения.

Помню землетрясение 1938 года, когда вдруг среди ночи моя кровать сама по себе выехала на середину комнаты.

Помню дядю Мишу Пастернака, двоюродного брата мамы, который чуть ли не каждый день приходил в гости (то ли к нам, то ли к своей родной сестре Рае, жившей с нами, то ли к тете Гите, в которую он был влюблен) и обязательно дарил мне шоколадные конфеты и игрушечные автомобили. Автомобили я не ломал, и у меня их вскоре накопилось много – хватило на целое игрушечное автохозяйство. Помню детский сад и свою воспитательницу; помню громадный обеденный стол, на котором мама тушью на кальке чертила что-то очень сложное с беспорядочно пересекающимися линиями (мама работала на заводе и почему-то брала чертежную работу на дом); большую политическую карту СССР, которой, как обоями, от пола до потолка была заклеена свободная часть фанерной перегородки. А еще – большой блестящий кассовый аппарат NATIONAL в каком-то крупном гастрономе. Кассирша крутила сбоку ручку и аппарат, перекрывая монотонный гул толпы покупателей, каждый раз скрежетал, вроде бы выговаривая человеческим голосом слово «Девяносто». По словам мамы, я в 5 лет научился читать: читал все вывески на улицах, названия городов на той карте, но, к своему удивлению, никак не мог прочесть надпись на том кассовом аппарате.

Почему-то запомнилась встреча Нового 1941 года! И я, и Майка, и Софа, и соседская девочка Рита Мичник поочередно читали перед взрослыми какие-то стихи, пели самую популярную тогда песню «Если завтра война, если завтра в поход...», и я получил приз – шоколадную конфету «Игрушка» в ярко-красной обертке. Затем нас уложили спать, а на утро я проснулся раньше всех и увидел, что елка с игрушками повалилась и лежит на полу. Все взрослые очень заволновались и говорили, что это не к добру, и война, наверное, все-таки будет.

Летом того года, как и каждое лето, наш детский сад перешел на положение пансионата и переехал на дачу в сосновый лес, что на левом берегу Днепра. 22 июня ровно в 4 утра бомбили Киев. Я тут же проснулся и спросил перепуганных нянечек: «Что? Снова землетрясение?». А днем прибежали мама с папой и немедленно забрали меня домой. Когда папа через несколько дней пришел домой в военной форме, я его не признал и очень испугался. Оказывается, его мобилизовали на следующий день после начала войны, дали обмундирование, ружье и послали охранять воинские склады «Арсенала-2» на Печерске. Добровольцем ушла на тот же «Арсенал» Рая Пастернак. Вскоре исчезли из нашей квартиры все мужчины: дядя Евсей, дядя Миша Пастернак, весельчак Гриша Мичник, и все ушли, как оказалось, навсегда.

Уехала в эвакуацию и тетя Гита с Майей. Ее русский муж – Александр Яковлевич Пиллер (коммунист, выдвиженец из сапожников в партийные функционеры, репрессированный в 1937, но почему-то быстро реабилитированный и выпущенный на волю незадолго перед войной) получил важное назначение на должность начальника тылового ОРСа в далекий город Кыштым Челябинской области.

Помню приехавших в Киев на попутных подводах из Чуднова прабабушку Добию, дедушку Иосифа-Вольфа с женой, бабушкой Витой и еще каких-то родственников, которые, как мне запомнилось, сидели неподвижно целыми днями вдоль фанерной стеночки, пока не уехали. Куда они собирались ехать, я до сих пор не знаю. Но, как я узнал гораздо позже, оказались в Астрахани.

Стало очень скучно. Тревожно. Начались ежедневные бомбежки под завывание сирен. На оконные стекла приказали наклеить крест-накрест бумажные полоски, а окна на ночь заве-

шивать плотными одеялами, чтобы с улицы не был виден свет, на улицах не стало трамваев и троллейбусов, прекратило регулярное вещание радио, а радиоприемники приказали сдать (под квитанцию, по которой их, якобы, вернут по окончании войны). Маму заставили сдать даже папин самодельный радиоприемник. Новости черпали только из слухов. А слухи были тревожные: вроде бы нашу армию, защищающую город от немцев, уже окружили и взяли в плен, а завтра взорвут все мосты, Киев сдадут и никто из Киева не выберется и т. д. Ну, а в том, что в первую очередь немцы, захватив Киев, будут убивать евреев и коммунистов, почему-то не сомневался никто. В разговорах взрослых все чаще мелькало новое незнакомое слово «эвакуация». В эвакуации они видели единственный выход, в эвакуацию надо уезжать и немедленно! Ехать, пока не взорвали мосты! Не на чем ехать – уходить пешком! Хотя бы на тот берег Днепра, а там – будет видно! Я сначала даже думал, что это название какой-то другой страны, и искал Эвакуацию на громадной от пола до потолка карте СССР, что висела на стене.

Война шла уже целый месяц. От папы и Раи весточки приходили редко, хотя они и были рядом, в Киеве. От дяди Сеи и других мобилизованных вообще вестей не было. Папа неуверенно успокаивал и говорил, что вот-вот их войсковую часть будут эвакуировать и, наверняка, вместе с семьями. Но куда сбежать от страхов и бесконечных разговоров об эвакуации? Мама и тетя Клара (жена дяди Сеи) каждый новый день встречали один на один со своими сомнениями и тревогами за «детей на руках». А дети – это я и Софа, сидим на полу и играем в войну: я кидаю в нее подушки, изображая бомбежку, а Софка-дура ревет.

В один из жарких июльских дней в квартиру вдруг врывается Эйведи Ременюк, родной брат тети Клары, и кричит прямо с порога:

– Машина уже стоит под окнами, и если ты, Клара, сейчас же не выбегаешь, то мы уезжаем без тебя!

– Сумасшедший! Как я могу ехать одна? Я же не могу оставить Машу с ребенком!

– Хватайте вещи, но не много, тогда хватит места и Маше. Война продлится недолго: месяц-другой поживете в Ахтырке, а к зиме все будете дома!

Мама после недолгих колебаний набивает два чемодана всякой ерундой, которая ей под горячую руку показалась наиболее ценной, хватает сумку с документами, со сменой одежды и кое-какой едой, прикалывает на дверь записку для папы и Раи, чтобы знали, где нас после войны искать, и вот мы уже бежим к машине. В открытом кузове на соломе уже сидит большое семейство Ременюков и еще какие-то люди. Взревел мотор машины и наша долгая дорога в эвакуацию началась.

4. Ура! Мы едем в эвакуацию!

Много ли нужно 6-летнему мальчику для счастья? Грузовик. Солома в кузове. Дорога. Солнечный июльский день. Свежий ветер в лицо. И все! Через ноги сидящих пробираюсь к кабине, чтоб смотреть вперед и становлюсь в позу какого-то виденного, очевидно, в кино мужественного героя. Прощай, Киев! Сворачиваем на цепной мост, переезжаем Днепр, а дальше – в густой сосновый лес. Машина была необычная, с двумя большими круглыми баками по обеим сторонам кабины. Никогда больше таких машин я не видел! Время от времени в эти баки надо было подкидывать дрова, чтоб машина ехала дальше. И мы останавливались, все бежали в лес заготавливать сучья, хворост, – и снова в путь. Взрослые все время говорят про благословенную Ахтырку, такую глухомань, где нет и никогда не будет войны.

Внезапно услышали рев самолетов и пулеметную стрельбу, а я увидел сначала четкую тень самолета, плывущую навстречу нам по дороге, а потом и сам низко летящий белый самолет с большими черными крестами! Всем стало ясно, что это немцы, и что охотятся они явно за нами. Кто-то, навалившись на меня, лихорадочно застучал по крыше кабины, чтоб шофер остановился. Все кинулись врассыпную в лес, а мама затолкала меня под машину и сама залезла туда же. Но вот немцы пролетели. Все быстро заняли свои места, и мы снова поехали. Пассажиры галдят, запыхавшаяся тетя Клара ругает маму за недомыслие (нельзя прятаться под машину, которую немцы могут взорвать!). И все-таки мы на полной скорости едем дальше! Но не тут-то было: немцы, оказывается, никуда не улетели, а только лишь развернулись для новой атаки. И вновь машина резко тормозит, вновь старики и молодые прыгают из кузова на землю и бегут, что есть силы в спасительный лес. Я уж сейчас не помню, сколько времени длилась эта смертельная игра немецких самолетов с одиноко едущей по лесной дороге машиной, переполненной мирными людьми. Скорее бы добраться до таинственной Ахтырки, где нет войны!

Как добрались до Ахтырки не помню – наверно, заснул. А утром мы с Софкой проснулись в незнакомой комнате. Сияет солнце в незанавешенные окна, на которых нет наклеенных крест-накрест полосок; тишина и спокойствие, а наших мам нет. Мы – в рев! На наш крик прибежали тетки-Ременючки: «Ша! Успокойтесь, ваши мамы ушли на базар, купят что-нибудь поесть и быстро придут!» Но мы слышали только слово «Ушли», что еще больше нас испугало, и рев возобновился с пушей силой. Наконец, пришли наши мамы, накормили всех, не только нас с Софой. За ужином мамы решили, что надо налаживать здесь свое житье, устраиваться на работу, и на следующий день мы с сестричкой были оформлены в детский сад, а мамы ушли. Наверно, на работу.

31 июля отметили мой день рождения торжественным чаепитием и гулянием по «центральной» улице Ахтырки, на которой, к моему удивлению, и асфальта даже не было. Неожиданно получили телеграмму от папы. Папа и Рая поздравили меня с днем рождения и сообщили, что их воинская часть переезжает в тыл, в город Балашов.

А на следующий день по городу поползли слухи о каком-то немецком десанте, и взрослые решили, что надо срочно ехать дальше, на встречу с папой и Раей в Балашов, который находится где-то недалеко за Воронежем. Вдобавок ко всему снова появился страх остаться в окружении: ведь Ахтырка – это тупиковая станция, связанная тонкой железнодорожной веточкой с железной дорогой, ведущей в большой город Харьков. В местном военкомате мама получила официальную бумагу, где говорилось о том, что «семья военнослужащего в составе 4 человек (это я с мамой и тетя Клара Ременюк с Софой) следует в город Балашов по месту дислокации воинской части». Вскоре мы садимся в полупустые вагоны пригородного пассажирского поезда и с комфортом прибываем в Харьков.

На этом комфорт и закончился. В помещении харьковского вокзала людей было столько, что вещи поставить было негде. Выходим на привокзальную площадь. Но и там люди: кто на скамейках, кто прямо на земле. С трудом нашли клочок зеленого газона на привокзальном сквере. Громадная площадь перед серым мрачным вокзалом, вокруг такие же серые высокие дома, и ни одного деревца, нещадно печет августовское солнце.

Не знаю, сколько дней мы провели на этой площади. Переправив в справке число членов семьи военнослужащего с 4 на 9, мама и тетя Клара каждый день с утра, как на работу, уходили в очередь за билетами до Балашова. А я с Софой целыми днями сидели и скучали под присмотром теток-Ременючек. Однажды, оставив на попечение мамы своих двоюродных сестер, ушла и не вернулась тетя Клара с Софой. Маме она сказала, что в Харькове у нее есть родной брат Абрам и, если она его найдет, то он нам всем поможет. Но тетя Клара ночевать на привокзальную площадь не вернулась. Обеспокоенная ее отсутствием мама позвонила Абраму, и тот сказал маме, чтобы за Klarу она не беспокоилась, он ее не оставит в беде. «Понятно, – сказала мама. – До других своих сестер, тем более до какой-то невестки, ему дела нет. Будем биться тут сами».

Помню страшную грозу и себя, лежащего на чемодане, и маму, которая сидела рядом и держала надо мной дырявый зонтик. А дыра в зонтике была такая большая, что через нее были хорошо видны причудливо изломанные линии молний. Помню и ночные бомбежки вокзала и нас, безучастно сидящих на асфальте громадной привокзальной площади. Прятаться от бомб было некуда и взрослые, очевидно, надеялись, что если бомба и упадет на площадь, то убьет не всех.

Но вот в один солнечный день прибежала радостно возбужденная мама с билетами в руках. Красивое, синее в мелкие белые цветочки, платье на спине у нее было сильно разорвано, но все это мелочи! Главное – едем дальше! Вот только не известно точно когда.

Ночью – снова налет немцев на вокзал и страшная бомбежка. И тут, не обращая внимания на бомбы, выезжают на площадь военные грузовики, солдаты, не говоря ни слова, грубо заталкивают туда людей и вслед им легко забрасывают их вещи. Но далеко нас не повезли, а вывезли на какой-то дальний перрон и перегрузили в вагоны товарного эшелона, наверно, для того, чтобы скорее вывезти людей из-под непрекращающейся бомбежки. О, это были очень интересные деревянные вагоны: стенки – дощатые, выкрашенные красно-коричневой краской, двери были посередине и, самое удивительное – они ездили на колесиках вдоль стен! С двух сторон от дверей – просторные нары.

Я, конечно, поскорее вскарабкался на нары и занял самое лучшее место возле маленького окошечка. Жизнь прекрасна, когда рядом на нарах есть мама, есть маленькое окошко и встречный ветер. Едем! Прощай, прощай неприветливый серый Харьков!

И вот наш эшелон уже много дней ползет и ползет по заброшенной окольной железной дороге на восток. Поезд движется с частыми остановками на незнакомых никому станциях, на которых нас загоняют в тупики или на дальние запасные пути. Во время остановок беженцы добывают еду, запасаются кипятком, справляют нужду. В вагоне наладился свой быт, все давно перезнакомились. Вот под нашими нарами едут буржуи. Их все так с неприязнью называют из-за множества, стоявших один на другом, принадлежавших им кованых сундуков с вещами. Такой кучи тюков и сундуков ни у кого не было. Зачем? Ведь война вот-вот кончится, и мы вернемся домой! А еще у них был примус! На этом примусе буржуи, на зависть всем, готовили себе горячую еду и кипятили чай. Если кто просит одолжить примус – не отказывают, но спрашивают: «а керосин у вас есть?» А керосина, конечно, ни у кого не было. А у них керосин был.

Остановки были многочасовыми: то не было паровоза, то был паровоз, но не было угля или воды для него, то нас не впускали на станцию, через которую, говорят, именно сейчас вне очереди пропускают срочные воинские эшелоны.

Наконец-то, прибыли в Балашов. Но в железнодорожной военной комендатуре маме сказали, что папина воинская часть сейчас временно находится в Саранске, и нам надлежит ехать туда. Оставили в Балашове теток Ременюк, которым предложили жилье и работу в колхозе, дали телеграмму папе в Саранск, и – скорее в свой вагон. Поехали дальше.

Эшелон, составленный из старых товарных вагонов, конечно, никаких тормозов не имел, и мне, сидя на нарах, было очень смешно смотреть, как все падают с ног при каждой резкой остановке поезда или при трогании с места. Помню Пензу. Пообедали, стоим уже не первый час. Обитатели вагона дремлют, я выглядываю в оконце и изучаю соседние эшелоны. Мама сидит на нарах, свесив ноги, и спокойно что-то вышивает. Вдруг удар – это прицепили паровоз – и мама от неожиданности падает вниз и ударяется лицом прямо о те самые ненавистные кованые сундуки. Все засуетились, заохали, прибежали санитары с носилками и унесли маму в станционный медпункт. Я остался один и, помню, все боялся, что поезд вот-вот уедет без мамы. Мама, прихрамывая, пришла сама лишь к вечеру. Лицо у нее было страшное, без передних зубов.

Толчок ночью. Просыпаюсь и выглядываю в окошко. Вдоль железной дороги стоят низкие белые амбары с дверями в торце. Над дверями горит электрическая лампа с абажуром в виде тарелки. Неправдоподобная тишина. Слышен лишь только скрип раскачиваемой ветром лампы над дверями амбара и чей-то громкий женский голос выкрикивает: «Ртищево-о-Ртищево-о...».

И все же одним теплым осенним вечером мы добрались-таки до Саранска. К нашей радости нас встречали папа и Рая. Смутно помню сквер в центре города, школу с мордовской надписью русскими буквами «Школась», семейное общежитие, где кровать от кровати были отгорожены темно-зелеными солдатскими одеялами, и ярко-зеленый ящик из-под артиллерийских снарядов с висячими железными ручками по бокам. Зеленый ящик стоял рядом с кроватью мамы и папы, и папа сказал, что спать я теперь буду на нем. А Раина кровать была в «соседней комнате» за стенкой из колючего одеяла.

5. Мы уже на месте

Была уже зима, когда папина войсковая часть, которая по сути дела была известным киевским заводом «Арсенал-2» по ремонту вооружения, наконец, вернулась в Балашов, на место своей постоянной прописки. Войсковую часть разместили в центре города на территории обозного завода. А нас на время поселили в комнате заводского медпункта, в которой было интересное квадратное окошко с деревянной дверцей в приемный покой. Дверца запиралась крючком. Откинешь крючок, и можно открыть дверцу и смотреть, как карлица тетя Маруся по утрам растапливает в медпункте печь, которая второй стенкой выходила в нашу комнату. Часто тетя Маруся, сильно раскачиваясь из стороны в сторону на коротких ножках, заходила к нам, чтобы поговорить со мной и подарить мне разноцветные листики бумаги для рецептов, которые ей давали для растопки. А я рисовал на них, что в голову придет.

Потом папа получил на заводе направление на постой к неким Селивановым. Освободили нам темную комнату, в углу которой висел портрет страшного человека с выпученными глазами, а под портретом на трех проволочках висела плашка с огонечком. Мама шепотом поправила меня, сказав, что это не портрет, а икона, и нарисован на ней бог. Старая страшная бабка как-то вечером подошла ко мне и стала щупать голову. На мамин вопрос, что она ищет, бабка ответила, что впервые видит живых евреев и ищет на моей голове рожки, так как ей сказали, что все евреи – антихристы. Вскоре хозяева отказали нам в жилье: немцы де близко, возьмут Балашов и расстреляют всех, кто давал приют евреям – так было написано в листовках, которые разбрасывали немцы над городом с самолета. Именно тогда я впервые спросил маму: «А кто это евреи?» Я ненадолго успокоился, получив ответ, что евреи – это и мама, и папа, и Рая. Вот только не ясно было: если рогов у нас нет, то, как хозяева узнали, что мы евреи?

А папа нашел вскоре другую комнату в избушке какой-то Ольги Ивановны. Работала она на железной дороге проводником и поэтому никогда не бывала дома. В памяти от этой квартиры остался только холод, хотя печку-буржуйку, сделанную из чугуна, топили непрерывно. Но тепла она не давала, и стены нашей комнаты все время были покрыты ледяной коркой.

Впрочем, вскоре и Ольга Ивановна узнала, что мы евреи. И снова папа ставит на самодельные санки деревянный снарядный ящик, меня заматывают в какие-то тряпки и сажают на ящик верхом, и мы снова едем. Теперь на квартиру к какой-то Нюрке, у которой отец был на фронте, а мать умерла. Нюрке было лет тринадцать, и она, как сказал папа, наверно, еще не знала, кто такие евреи.

Нюркина квартира была далеко от центра города – на станции Хопер, которая являлась пригородным поселком Балашова. Сам Балашов расположен на плоском взгорье, а поселок станции Хопер, где мы теперь обосновались, – на пологом склоне поймы реки Хопер. Город со станцией был связан единственной дорогой, проходившей по самой кромке глубокого обрывистого оврага, по дну которого веснами бушевал бешеный ручей. Наша Мало-Коммунистическая улица лежала под горой и поэтому имела верхний порядок домов, стоявших на пригорке, и нижний порядок домов, окна которых выходили прямо на проезжую часть. Вся улица, разумеется, была застроена одноэтажными домишками, но из-за склона получалось так, что со стороны улицы был один этаж, а со двора – полтора. Вход в наше жилье был со двора. Это был полуподвал с подоконниками на одном уровне с землей. И это мне очень нравилось. Маленькие сени и одна комната, в которой господствовала большая «русская» печь. Эта печь разделяла комнату на три жилые части: с одного бока печи жили мы, с другого бока печи – шорник с нашего же завода по фамилии Сапрыкин с женой. А перед фасадом печки был «зал» с обеденным столом, придвинутым вплотную к простенку между входной дверью и окном. За этим столом по очереди обедала наша семья, затем Сапрыкины. А Нюрка жила на печке, а обедала с нами.

Папа вскоре сбил из толстых досок крепкую скамейку и две кровати под странным названием «топчан». На одном топчане спал он с мамой, а на другом – Рая. А я же спал на родном зеленом снарядном ящике с двумя висячими железными ручками по бокам. Этот же ящик служил нам и сундуком для хранения всяких пожитков и скудных запасов еды. А еще папа сделал из патронной гильзы керосиновый светильник под названием «коптилка», т. к. у Нюрки керосиновая лампа не работала – стеклянный пузырь давно уже лопнул.

Зима 1941 – 1942 года выдалась снежной и лютой, а мы, надеявшиеся на скорый конец войны, не имели ни зимней одежды, ни подходящей обуви. Всю эту зиму я просидел дома, не выходя на улицу. Нюрке от матери в наследство осталась старинная швейная машина фирмы «Зингер», черная, расписанная затейливым золотым узором в виде завитушек, и мама на этой машине сшила мне матерчатые бурки с ватной прокладкой, чтоб я хотя бы не мерз на холодном полу. А чтоб не одурел от безделья, мама записала меня в библиотеку и приносила мне домой тоненькие, зачитанные, в самодельных твердых переплетах книжечки из серии «Книга за книгой». В каждой книжке был один маленький рассказ или, как я позже узнал, отрывок из романа. Так я еще до школы познакомился с рассказами Гаршина, Григоровича, Куприна, Льва Толстого, Гюго, Н. Островского. Первой моей книжкой был рассказ Гаршина «Сигнал», в котором путевой обходчик ценой своей жизни предотвращает аварию пассажирского поезда. Он снял с себя белую рубаху, перерезал вены, и окрасил рубаху собственной кровью, в цвет красного сигнального флага, и, истекая кровью, умер на рельсах только тогда, когда убедился, что поезд успел остановиться, и аварии уже не будет. А как я рыдал, читая «Гуттаперчевого мальчика» и «Аленький цветочек»!?

Папа и Рая работали на заводе без выходных, а подчас и ночуя там: папа на ящике возле своего токарного станка, а Рая в кузне, привалившись к ковочному прессу. Такая работа называлась Сталинской вахтой.

На заводе раз в месяц выдавали карточки каждому из рабочих и членам его семьи. На карточке была указана фамилия владельца, а ниже карточка была разграфлена на клеточки по числу дней в месяце. Карточки были разные – на хлеб, на обеды в столовую, продовольственные и промтоварные карточки (сейчас такие слова, наверное, не каждый и поймет: продовольствие – это все, что едят, а промтовары – одежда, обувь и все другие предметы, которые не едят). В магазине, например в хлебном, ножницами отрезали один квадратик и продавали столько хлеба, сколько в квадратике было напечатано. А все граждане были разбиты на группы (рабочие, служащие, иждивенцы, дети здоровые и дети ослабленные), и каждой группе населения была положена своя норма хлеба и других продуктов. Нормы были скудные и мама, в беретке и в потертом сусликовом полушубке, каждый день бегала в город на базар в надежде продать или обменять какие-нибудь вещи на еду. А папа тоже придумывал все время: как бы что-нибудь заработать на еду. Придумал как-то и собрал дома маленький ручной прессик. На нем он по вечерам делал расчески из алюминиевых полосок, которые приносил с завода. Мама их сбывала на базаре. Есть хотелось каждый день. Мама с папой все время удивлялись: до войны я был очень болезненным мальчиком, болел чуть ли не всеми болезнями, которые были на свете (даже уезжал в эвакуацию с температурой), а заставить меня есть – было очень тяжелой задачей; и вдруг – волчий аппетит, когда есть нечего. И никаких болезней. Папа, как-то в сердцах, ткнул мне мою хлебную карточку «СП-35» (Специальное Питание для ослабленных детей) и отрезал маленький кусочек тяжелого желтого кукурузного хлеба: «вот твои положенные 350 грамм на весь день. А ты сколько съедаешь? Все 700!» Есть хотелось непрерывно.

Как-то, уже к весне, папа получил несколько дней отгулов и решил отправиться на заработки по деревням, вспомнив старые свои ремесла – паять, лудить и чинить кастрюли, ведра, чайники. И снова, как осенью, папа с мамой впряглись в саночки, меня – наверх, и пошли мы пешком от села к селу. Работы было много, но денег у людей не было. Платили, кто чем мог, а больше картошкой. Уже на обратном пути попали в пургу, сбились с дороги и долго шли

по бездорожью, ориентируясь на собачий лай, пока не вышли на какую-то глухую деревишку. Остановились в первой попавшейся избе. Папа и там кое-что отремонтировал из посуды. Заработал на еду. Поужинали при свете керосиновой лампы. Старик-хозяин, «закинув» меня спать на русскую печь, спрашивает папу:

– А часы починить сможешь?

Папа посмотрел на старинные дешевенькие часы «ходики» с гирями на цепочке, которые безжизненно висели на стене, и отказался:

– Нет. Часов я ни разу не чинил. Не умею.

– Как так не сможешь? – не унимался старик. – Он! Самовар даже починил, а такое плевое дело не сможешь? Ну, хошь я полмешка картошки те отвалою? Без часов какая жисть?

За такую плату папа все же решился посмотреть часы. Снял их со стены и вытащил из кармана отверточку, с которой никогда не расставался. И долго еще в тот вечер на столе горела керосиновая лампа. Утром, когда я проснулся, часы-ходики уже бодро тикали на освещенной солнцем стенке. Мы позавтракали, уложили еще полмешка картошки и поехали. А мама спрашивает папу: «может быть, ты теперь и маленькие часы сможешь ремонтировать?»

К полдню резко потеплело. Папе и маме стало трудно тащить сани с мешками, да еще и меня наверху. Переходя в одном месте по льду через Хопер, мы чуть не провалились. Вернулись на берег, в лесочке папа выломал большую толстую палку, и мы снова пошли через реку. Мама везла по гладкому блестящему льду сани, а папа шел впереди и что есть силы стучал по прозрачному льду палкой. Если трещин не было, то шли дальше. Лишь только к вечеру были дома. Рая сильно переволновалась за всех нас и за папу, которому утром надо было обязательно идти на работу. Опоздание или неявка на работу – дезертирство! Законы военного времени были суровыми.

Однажды вечером мама пришла с базара и принесла маленькие ручные часики – первый заказ на ремонт. Это были импортные часики со странным названием «Цилиндрик». Папа разбирал и собирал их много вечеров подряд, делая перерывы на изготовление специального инструмента для этого. Как назло, часы оказались дешевой моделью, которая не подлежала ремонту, но папа об этом узнал позже! Он долго пытался отремонтировать их, но кончилось тем, что пришлось покупать для заказчицы такие же новые исправные часы. Что же, за учебу тоже надо платить! На втором заказе папа уже заработал, но мало. Чтобы выполнить этот заказ папе пришлось сделать маленький токарный станочек с ножным приводом, научиться самому делать часовые пружины и «спиральные волоски». Лишь много месяцев спустя ремонт часов стал некоторой подработкой.

Первая примета прихода весны – это появление толстых сосулек на крышах и узких полосок оттаявшей земли вдоль стен домов и сараев. В Киеве до войны я таких сосулек не видал или не обращал на них внимание. За нашим домом у хозяев были огороды, а вплотную к дому вдоль межи с соседским участком стояли в ряд сараи. Когда вдоль стен дома и сараев просохла полоска земли, мне впервые за зиму разрешили выйти во двор, чтоб подышать свежим воздухом. Был солнечный безветренный день. Надел я свои тряпичные бурки, вышел, прокрался по пристенной полоске земли, неуверенно держась за завалинку, до ближнего сарая и присел на корточки, привалившись спиной к теплой серой стенке, лицом к солнышку. Прищурил глаза на ослепительный белый снег, затем зажмурил веки и долго сидел неподвижно, ни о чем не думая, как в полудреме, просто греясь на первых теплых солнечных лучах. Весна.

6. Как твоя фамилия?

Вот и пришло лето. От него у меня в памяти осталось только одно воспоминание – постоянное желание найти что-нибудь поесть.

Однажды в знойный полдень я, как часто бывало, играл сам с собой на проезжей части нашей Мало-Коммунистической улицы. Проезжая часть, зажатая между крутым зеленым пригорком с верхним порядком домов и рядом узких палисадников с высокими мальвами у домов нижнего порядка, была постоянным местом для игр всей детворы, так как автомобили по нашей улице никогда не ездили, а конные повозки и подводы сворачивали на Мало-Коммунистическую улицу не более двух – трех раз в день. На каждую из этих подвод выбегали смотреть и дети и старики: интересно, к кому это едут? Или: к кому это везут дрова?

Вот и сейчас я увидел еще издали подводу, которая медленно ехала по нашей пустынной улице, скрипя колесами. На передке сидел круглолицый солдат в линиялой гимнастерке. Он курил самокрутку и изредка левой рукой подхлестывал лошадь кнутом. Правая рука у него была на черной перевязи – значит раненый, из выздоравливающих. В городе было много госпиталей, и выздоравливающих солдат часто посылали по каким-нибудь хозяйственным делам. Я посторонился, чтоб пропустить телегу. Но солдат вдруг остановил лошадь, внимательно посмотрел на меня и спрашивает:

– Мальчик, как твоя фамилия?

– Гойзман. – отвечаю. Фамилию свою я выучил твердо еще до войны, в Киеве. Мама и папа очень заботились об этом, чтобы я мог назвать ее любому милиционеру, если отстану от родителей и заблужусь.

– А маму твою не Машей зовут? – спросил он удивленно.

– Машей!

– А ну, садись скорее рядом и показывай, где ваш дом!

Долго меня упрашивать не надо было. Я быстро взгромоздился на скамеечку рядом с ездовым и сожалел лишь о том, что улица пуста, и никто из соседских меня сейчас не видит. Заехали мы прямо во двор и я показал на наши двери. Солдат живо спрыгнул с подводы и без стука решительно зашел в наши двери, а я с вожжами в руках остался. Вскоре я услышал мамины крики. Испугался, бросил вожжи, тоже вбежал в дом и увидел, что мама с этим солдатом целуется и плачет.

– Сёмочка, ты что? Не помнишь этого дядю? Не узнал нашего Исаака Израилевича?

– Ша-ша. Я уже не Исаак Израилевич. Я теперь Иван Иванович! – прервал маму солдат. И он с удовольствием стал рассказывать то по-русски, то по-еврейски: – Это же смешно сказать! Мы шли в разведку, как положено, без документов. И там меня ранило, и я даже не знаю, как очутился в госпитале. А единственный документ – надпись на воротничке гимнастерки: «Ткач И. И.». Врачи решили, что я Иван Иванович, и так меня и зарегистрировали. А когда очнулся, так возражать не стал. Так вот я стал русский! Теперь у меня уже и документы новые!

– Семочка, ты еще фотографировался вместе с его дочкой Жанночкой? Кудрявая такая? Не помнишь? – теребила меня мама.

Я почему-то не помнил ни его самого, ни его дочери. А «Иван Иванович» начал расспрашивать маму, не знает ли она, случайно, где его жена и дочь? Оказывается, что его жена – это еще одна двоюродная сестра тети Клары Ременюк!

Однако ничего обнадеживающего Ивану Ивановичу мама сказать не смогла, – на машине было много сестер Ременюк, но именно этой сестры и его дочери с нами на машине не было. Лишь после войны мы узнали, что его жена и дочь из Киева уехать не смогли, и были расстреляны в Бабьем Яру вместе со всеми киевскими евреями. А любительская фотография, на которой я и трехлетняя Жанна стоим, обнявшись, позднее нашлась.

– Ой, так что же я стою и сам себе думаю? – спохватился вдруг Иван Иванович.

И он выбежал во двор, отдернул зеленую брезентовую накидку, которая накрывала груз на подводе, и потащил в дом один из наполовину наполненных белых мешков, которые лежали в телеге под брезентом.

– На, бери, пригодится, а я поеду, опаздываю уже! Короче, меня скоро выписывают на фронт, и заскочить к вам я, наверно, уже не смогу! А так хотелось бы повидать и Рувимчика, и Раечку!

И он, хлестнув лошадь кнутом, поехал со двора. А мама, заглянув в мешок, прямо обмерла от счастья: в мешке был белый говяжий нутряной жир! Первый жир, который она увидела после начала войны! Мама тут же растопила печь и начала переплавлять этот жир, затем разливать его в глубокие фаянсовые тарелки. То ли жир был от очень старой скотины, то ли просто несвежий, но вонь от него при переплавке стояла ужасная. Через некоторое время жир застывал в тарелке, мама аккуратно вынимала из нее красивые, повторявшие форму тарелки куски и ставила их один на один в погреб. А потом начала печь на этом перетопленном жиру картофельные блинчики под названием «деруны». О, какая это была божественная еда! Я носился по двору, изображая из себя и резвого скакуна, и телегу, и седока одновременно, и время от времени подбегал к раскрытому настежь окну, получал очередной блин и снова убегал играть. Это обжорство кончилось для меня очень плачевно – страшная рвота и на всю жизнь отвращение к блинам из сырой картошки, именуемым дерунами.

А Иван Иванович остался жив, и снова встретили мы его лишь после войны. И снова они обнялись, и снова мама плакала – на сей раз, наверно, от воспоминаний обо всех погибших, о пережитом за эти годы и, конечно, о говяжьем жире, который так здорово тогда нас выручил!

7. Лето 42-го

Над нами жила Лиля Бойченко – молоденькая девушка из Киева, лет шестнадцати. Она любила ходить в лес, прихватывала с собой соседских девчушек. Стал с ней хаживать в лес и я. Дорога к лесу шла через переезд железной дороги, через мостик над Хопром, а затем через большой заливной луг. В лесу, худощавая, одетая в белую кофточку с украинской вышивкой цветочками на широких рукавах, Лилия перебежала с места на место и подзывала нас полюбоваться на растущие грибы, на гнездышки птичек в кустарнике, в которых лежали маленькие яички, брошенные вспугнутой мамой-наседкой. Красивым певучим голосом Лилия рассказывала о каждом дереве и о птицах. От нее я узнавал каждый день много нового: названия трав, ягод, и, самое главное, какие грибы, травы и ягоды можно есть, а какими – отравиться. На лугу и в лесу мы ели дикий щавель, цветы кашки (клевера), ежевику, грибы-сыроежки. А на лесном Монашкином пруду, таинственном, тихом, с чистым песочным дном и прозрачной водой, был дальний угол, заросший рогозом, и мы, стоя по колени в воде и разрезая себе в кровь руки, с большим трудом выдергивали из воды толстые стволы рогоза с белыми сладкими концами. И тут же их обгрызали! А уж сколько восторга вызвало открытие, что можно есть черные ягодки паслена – сорной травы, росшей прямо на хозяйском огороде и во дворе!

Походы в лес выдавались редко (Лилия, наверно, работала) и каждый из них был для меня праздником. А будни я проводил во дворе, развлекая себя сам. Выхожу как-то ярким солнечным утром на улицу. На утрамбованной проезжей части дороги соседские ребята, как всегда, играют в «коца». Это игра, при которой каждый играющий ставил на кон свою, например, пятикопеечную монету. На кону все монеты собирались «решкой» вверх в аккуратный столбик и каждый играющий от черты, проведенной на расстоянии 10 шагов от столбика, по очереди метал в нее «биту» – тяжелую монету. Первый, кому удавалось попасть в столбик, забирал себе в карман все монеты, которые от удара случайно переворачивались и лежали вверх «орлом»; а затем получал еще дополнительное право бить по монетам, лежащим решкой вверх, пытаясь перевернуть их на орла и тоже забрать себе, если переворот удастся. Если же первый промахивался, то право метать битку переходило к следующему игроку.

Я долго стоял в сторонке и заинтересованно наблюдал за игрой, пока один из мальчиков, которого все называли Коляном, не обратил на меня внимания и спросил:

– Тебя как звать?

– Сема.

– Сема? А из какого двора? Почему не знаю?

– Из того, – показал я, повернувшись, на свой дом.

– А! Так ты из приезжих евреев будешь? – Тут я сразу сник, т. к. почувствовал, что меня сейчас неминуемо прогонят, как зимой прогоняли нас с квартиры. – Вот спроси меня, спроси: «сколько время?»

– Сколько время, – тихо неуверенным голосом повторил я за ним.

– Сколько время? Два еврея, третий жид, на веревочке висит! – И он начал прыгать вокруг меня, повторяя свою дразнилку и строя дурашливые рожи, чтоб рассмешить своих товарищей.

Все тотчас стали глумливо хихикать, а я, еле сдерживая слезы, помчался что есть силы домой, к маме.

Мама посоветовала не обращать на дураков внимания и не играть с ними. Тем более, что игры в деньги – это вообще плохие игры, в которые играют только хулиганы. Ей легко советовать. Она уже большая.

– И как это они узнали, что я еврей?

– А у тебя это на лице написано, – с усмешкой ответила мама.

Поставил я поудобнее на подоконник обломок вогнутого зеркала от прожектора, который папа принес с завода для бритья, и стал внимательно изучать свое лицо. Из вогнутого увеличительного зеркала на меня смотрел смешной толстомордый мальчик. Я заулыбался своему искаженному изображению. Впрочем, лицо, как лицо, и ничего на нем не написано. И вдруг меня осенило: улыбка выдает меня! Понял! Все русские ходят со злыми лицами! А мама, папа и Рая все время улыбаются. Я соорудил свирепую рожицу, еще раз посмотрел на себя в зеркало и удовлетворенно решил, что теперь на улице всегда буду ходить с таким выражением лица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.